

ЗАТВОР

Рассказы



Михаил Александрович Калашников родился в 1985 году в селе Белогорье Подгоренского района Воронежской области. Окончил исторический факультет Воронежского государственного педагогического университета. Публиковался в журналах «Подъём», «Звонница», «Сибирские огни», других региональных периодических изданиях. Автор четырех книг прозы. Лауреат Исаевской премии (2020 г.), премии «Кольцовский край», дипломант фестиваля «Во славу Бориса и Глеба», литературных премий им. В.П. Астафьева, «Щит и меч Отечества», «Болдинская осень». Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

За потолком подвала, стенами и толщью земли опять глухо и коротко всплакнула даль. В который раз. Эти редкие вздохи — печальное напоминание: где-то есть большой мир, он все еще живет. Женщина в подвале эхом отозвалась далекому орудийному взрыву, прерывисто и тихо вытолкнула воздух из легких, устало всхлипнула, шмыгнула носом.

Она вытерла остатки слез тыльными сторонами ладоней, вскарабкалась на полку для солений и банок с вареньем, посмотрела через вентиляционную трубу на свет. Труба была под самым потолком; чтобы выглянуть наружу, приходилось каждый раз влезать на стеллажи. Белый свет не изменился: плыли по небу клочья серых облаков, играло солнце несмелыми бликами первой весны. Еще из трубы виднелся поваленный забор, кусок захламленного мусором двора, вишня с посеченными голыми ветками.

Женщина тихо и неумело засвистела, подзывая собаку:

— Мишка! Мишка! Иди сюда, родной... Ну, где ты, паразит?

Участок двора, куда был направлен обрезок трубы — единственный лаз во внешний мир, — оставался пустым и безмолвным. Собака не появилась. Еще был кот.

Затворница подвала догадывалась, что ее питомцам надо где-то искать пропитание, поэтому они постоянно отсутствовали, но все равно хоть раз в день появлялись у «окна», доказывали свою живучесть. Они заметно исхудали за этот срок, а на рыжем коте два дня назад женщина заметила крупную перемену — отсутствовал ошейник. Она сама сплела его несколько лет назад из желтой и голубой ленточек. Все годы кот носил этот талисман, не терял и не пытался сдернуть. Наверняка ошейник сняли люди, те, кому он мог помешать, либо мозолил глаза. Теперь ее кот больше не «кіт», его наверняка переименовали, раз сорвали с горла все регалии. Человек где-то ходит по земле, мир не стал безлюдным... Если грохочут еще снаряды, значит, есть люди, запускающие их.

Женщина спустилась на пол, села в настеленное из одеял и старой одежды лежбище, оперлась руками на свой импровизированный стол — перевернутый верх дном фанерный ящик. Она долго ждала, пока глаза ее после света снова привыкнут к подвальной темени, взяла шариковую ручку, принялась писать на бумаге для принтера:

13 марта. 18-й день войны. 27 февраля в последний раз видела маму. С тех пор в погребу. На выход, похоже, крышка упала. Пробовала разобрать пол — не вышло. Придется ждать людей. Кошка с собакой периодически заглядывают в вытяжную трубу, я вижу их, разговариваю и плачу. Прошу их кого-нибудь позвать на помощь, а они не понимают. Молюсь. Ночью очень сильно зудело в голове, т.к. грязная и я ее расчесала до ран. Думала, виш. Это были адские ощущения. Встала ночью, нагрела воды, обрезала волосы ножом и помыла мылом. Зуд какое-то время не прекращался. Раны некли. Потом как-то заснула после молитв. Вдали грохотали снаряды. У моего дома уже дня 3 не взрывается, слава Богу.

Щелкнула пружина в кнопке пишущей ручки. Затворница снова по привычке потянулась рукой к зудящей голове, но вовремя ее отдернула. Воду надо беречь: хоть и успела перед своим заточением снести в подвал несколько пятилитровых баклажек, еще не известно, сколько ей тут сидеть. Чай, макароны и баранки пока есть, консервированных овощей на год хватит, но год она, конечно же, тут не выдержит, помрет раньше... Надо стараться меньше есть, и дело тут вовсе не в экономии продуктов: помойное ведро выносить некуда, с запахом из него так и не свыклась, сколько не натягивала пакетов, пытаюсь там похоронить дурную вонь.

Женщина заговорила вслух, привыкнув к мысли, что это единственный способ не сойти с ума:

— Что там мать? И ее в подвале привалило? Или с той удачей, что за ней повсюду идет, матери и подвалов не надо. Сколько раз твердила: «Не высывайся, не лез! В 73 — еще не тот срок, чтоб помирать». Нет, упряма, лезет... Кто ее просил с красным флагом к солдатам выходить? Ох, как ей повезло... От пайка еще, дура, отказалась. Ребятка к ней со всей добротой: на, старушка, покушай. А тут такое «встриченье¹»... Понятное дело, растопчут твою тряпку. Это она еще слабо отдалась... У нас на улице некоторые торопыги сильно пожалели, когда успели чего-то там на своих заборах про русский мир написать и про славу Украине в составе России... Россия — тетка неторопливая, обещанного мира три года будем ждать, а то и больше. Упашитесь...

Она выговорилась, словно постояла на проулке с соседкой, почувала

¹ Встреча (суржик).

некую легкость внутри и вслед за ней — новое ощущение, будто больше никогда не захочет повторять этих слов.

До нынешних дней затворница нечасто ходила в церковь, да и дома молилась не каждый день. Мать в первые сутки войны, когда давала указания, чего захватить с собою в подвал на случай долгого сидения, советовала запастись иконой. Она тогда привычно отмахнулась: «Мне за пятьдесят, а ты все учишь!». Потом добавила более сдержанно, не таким противным тоном: «Давно уж спустила Богородицу».

Мать всегда была с придурью. Хотя все они — сама затворница, ее соседи, друзья и знакомые, большинство родни — приняли Майдан с настороженностью: «Шось такэ чуднэ². Янык, конечно, упырь, в Европу нас не пускает и унитаз у него золотой, но не до такой же степени, чтоб закарпатские селюки его из кресла выкидывали. Да и с чего эти рогули решили, что ими тут все поделено? В Киеве еще Янык сидел, а они уже у себя во Львове и Луцке его власть не признавали, свою владу распихали. Мы за Януковича, вообще-то, голосовали, а вы там своих проталкиваете! А раз вам можно свою власть, то и нам у себя в Харькове тоже можно!»

Затворница тогда яростно ругалась с бывшей одноклассницей, спокойной проводившей своего сына-студента на митинги против власти.

— Та шо, — говорила одноклассница, — диты хочуть драйву, диты хочут заробыть, ныхай йидуть³.

Затворница ей яростно противилась:

— Увидишь, что это будут за заработки!

Потом, когда в столице все было решено, а в Харькове, Донецке и Луганске случились свои «революции достоинства», даже в их глубинку приезжали агитаторы из Киева, махали «жовто-блакитными» прапорами, агитировали за единую и неделимую державу. Из толпы местных, где стояла затворница, в ответ агитаторам неслось:

— Мы ж не спорим, лучше жить в единой стране — от Камчатки до Днепра.

Агитаторы обижались и уезжали.

Затворница снова щелкнула кнопкой ручки, хотела что-то добавить, рука ее задрожала, опять потекли слезы.

Вести свои записи она стала только сегодня, когда истекла вторая неделя ее заключения. Вчера она рылась в ящике со старыми вещами, пыталась отыскать что-нибудь полезное или столярный инструмент для вскрытия пола. Сначала нашла упаковку одноразовых масок и горько усмехнулась: вот же стояла проблема два года назад, хоронились в домах от какого-то неясного поветрия, надуманной болячки. Славные были времена...

Потом ей попался старый телефон. Его удалось включить, батарея была хоть и севшая, но ее заряда хватило, чтобы пролистать и вспомнить переписку с сыном. В армии он служил на должности связиста, в отличие от большинства своих товарищей, у него был доступ к телефону и интернету. Только звонить он не мог. Им что-то там заблокировали. Но в соцсетях появлялся регулярно. Затворница стала вчитываться, вспоминать сообщения семилетней давности, как страшный сон свои беспокоящие вопросы:

— Что вам еще рассказали о ситуации в Дебальцево? Вам сказали, что

² Очень непонятная картина (*суржик*).

³ Что ж такого, детки хотят веселья, хотят зарабатывать, пусть едут (*суржик*).

сейчас это самая горячая точка в АТО? Ютуб просто пестрит видео. Особенно последние два дня.

— Нет (удивленный смайлик с расширенными глазами). Наверное, чтобы не допускать паники среди личного состава. Нас здесь более сотни. Все с оружием и гранатами. Что на ютубе?

— Пишут, что вы в котле.

— Я надеюсь, что это какой-то розыгрыш. В противном случае — мы обречены.

— Ты говорил своим боевым товарищам про этот котел?

— Сейчас? Нет. Ты понимаешь, что это будет? Я не буду говорить. Нас должны вывезти, если это правда.

Через день затворница писала:

— Привет. Как ты?

Ей вспомнилось, как сложно было набрать смайлик с улыбкой в тот момент, но она не видела иного способа поддержать сына тогда.

— Живой. Хреново тут, я тебе скажу. Стреляют. Взрывы «Градов» вдалеке. Напрягает морально.

— Владик, надо бежать.

— И что? Отдать землю? Так и всю Украину хапнут. Если скажут остаться — я останусь. Сделаю им, блин, коридор из гильз.

— Ты готов умереть, чтобы какая-то область осталась в Украине?

— Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду.

— Да ты понимаешь, что такое не пишут матери?! Ты подумай обо мне, о бабушке, о всей нашей родне!

В этот день он ей больше не ответил.

1.02.2015.

— Как ты?

— Заболел, хреново очень. Все тело ломит. Башка болит. Не соображаю. Морозит. Помыться в баню хотел пойти, с таким холодом и ветром у меня отбилась желание.

— А что у вас с больными делают? Лазарет, уход какой-нибудь? Или вообще ничего?

— Сам с собой все делаю. Я вон товарища выходил, сейчас здоровый, а сам заразился. Взял за бары кошку и под одеялом лежа трушусь.

— Кошка должна хоть немного согреть. Кошки — они хорошие. В спальнике лежишь? Или у вас просто одеяла?

— Спальника нету. Дорогое для меня удовольствие. Одеяло, сверху еще бушлат накидывается. Я военный и должен выживать.

Каждый день у нее был одинаковый вопрос: «Как ты? Как дела?». Сын отвечал свое.

2.02.2015.

— В нашем секторе стрельба редко. Вдалеке гудение и столбы дыма. Я уже начинаю привыкать к этому. Полдня отлеживался, как полегчало — копал землянки и выгружал щебень для окопов. Завтра заготовка дров.

03.02.2015.

— Двое петухов нажрались водяры в палатке, чего-то не поделили, когда синька взяла свое, один, взявшись за автомат, начал палить. Очередь задела горючую смесь, которая упала на раскаленную буржуйку. В общем... Четыре дотла сгоревших палатки. Четверо обугленных трупов, семеро с тяжелыми ранениями доставлены в больницу. Тем четверым

повезло бы тоже, если б огонь в первую очередь не добрался до ихнего БК... На построении шапки снимали... У нас медик тут есть прикомандированный, он каждый день синий ходит. Я чего-то очкую, думаю, предложить начальству изъять у него автомат, БК и штык. Выбираю сдохнуть в бою, чем по вине пьяного ублюдка, которого «белка» схватит.

5.02.2015.

— Стреляют. Когда приехал, было куда ни шло. Сейчас ужасно. Была попытка прорыва на наш пост. Отлежал на земле больше часа в ожидании. Слег к чертям. Женщина-полковник осматривала меня, дала маску и кучу лекарств, пообещала, что скоро буду на ногах. Смотрю на нее и вспоминаю тебя. В голове сразу мысль: «А если моей матери погоны полковника нацепить?» Меня бы улыбнуло (смеющийся смайлик).

6.02.2015.

Пытались напасть оттуда, где оборона слабее всего. Кто за машины прятался, а у меня выбора не было, упал сразу на землю и перекатывался. Обещают вывезить. Перед выездом я сдам телефон.

7.02.2015.

— Проводили инструктаж. Придется чистить мобильник и удалять переписку с тобой.

— Когда выезд планируется и почему придется все удалять?

— У меня вообще не должно быть мобильного. Я в зоне АТО. Мы с тобой общаемся через соцсеть рашки. Меня посадят за такое.

— Скорей бы ты уже вернулся.

— А что толку, мам? Как жить после того, что видел? По гражданским хреначат, как по цыплятам. Зря Кучма продал ядерное оружие из Украины. Если Украина вымрет... Я буду только рад этому. Адольф Гитлер говорил: «Выживает сильнейший. Народ, который не в состоянии выжить, обречен на вымирание». Мне стыдно, что я родился здесь и живу... Что дышу с мразями одним воздухом. Тут все продажное: власть, бабы, друзья. Я смотрю на этих пацанов, которые дети еще... И взрослеют на войне, глядя смерти в глаза, пока всякая мажорня дома сидит и пивко посасывает, не зная, что такое быть уставшим говном, грязным, как свинья в бронжилете. В дождь сидеть с автоматом и ждать, когда тебя угробят. Не хочу жить!

— Не говори так!!!

— Я устал от всего. 23 года, я, как овца, забился в угол, и мне страшно...

Затворница не читала эту переписку семь лет. С перепуга она тогда все удалила, но успела сделать скриншоты самых пронзительных моментов, и забыла про них. Сын вернулся, приходилось хлопотать о госпитале, о программе реабилитации, тут не до устаревшей переписки.

Телефон предсмертно пикинул, держался из последних сил, подсветка приугасла вдвое. Затворница скользнула пальцем по экрану, наткнулась на папку сообщений от Ваньки — племянника. Брат ее, Лешка, уехал в Луганск сразу после армии, там женился на местной. Разница у племянника с ее сыном была в пять лет. Тогда, в далеком четырнадцатом году, артерии еще не оборвались окончательно, она переписывалась с братом, узнала от него, что Ваньку мобилизовало шахтерское ополчение в августе, когда шли самые тяжелые бои за Иловайск и Саур-могила. Весной он еще учился в Академии имени Матусовского на худграфе. Какой из него солдат?

Звонки напрямую уже делать опасались, и Лешка пересылал своей сестре сообщения от сына:

19.08.2014.

Я не жалею, воля у меня еще есть, но, честно, эта война уже достала. Узнаю про некоторых трусов и уклонистов из ряда моих знакомых. Мерзко.

21.08.2014.

Вчера мы ушли из леса. Война учит не откладывать времени на потом. Нужно все делать сразу, потому что можешь не успеть. Сегодня доделывал набросок боевого товарища, которого больше нет. Горько терять камрадов.

23.08.2014.

Что может быть приятнее, чем оказаться среди своих друзей и братьев? После долгой отлучки Вовка сегодня играл на пианино. Живая музыка завораживает.

24.08.2014.

Обстановка жаркая. Попали под обстрел. Есть 300-е. Но мы держимся, и все у нас хорошо. Единственно, что печалит, нечем жакнуть по ним. Люблю вас всех и скучаю бескрайне. Надеюсь, скоро увидимся и отпразднуем победу.

01.09.2014.

Первый раз за двенадцать лет я не за ученической партой в этот день. Был бы теперь второкурсник. Наши под обстрелом опять. От взвода осталось 10 человек. Остальные 300-е. Хочется отомстить этим мразям. Били нас из минометов и «Градов». По всей видимости, нас заложили местные... Признались в своих деяниях. Надеюсь, они получат по заслугам.

02.09.2014.

Обстрелы стали для нас нормой. Чувствуем себя не то тряпками, не то монстрами подкроватными. Слышен стрелковый бой вдалеке, возможно, постреляем. Страх нет. Лишь решимость. Забавный факт: свист чайника теперь заставляет прятаться.

Телефон всхлипнул, окончательно угас.

Ей вспомнилось, как в осень того года она поехала в райцентр, на глаза попал желто-голубой бетонный забор, исписанный черными словами: «Мужа изнасиловала война, теперь муж насилует меня. Слава насильникам! Героям слава!»

Там же, на рынке, появилось много новых переделанных вывесок. Над вагончиком из сэндвич-панелей висела обновленная табличка «Ремонт часів». От вытертой буквы «о» остался только контур, сама табличка и прочие буквы не пострадали. Старик, стоявший рядом с ларьком, сказал вслух, кивнув на обновленную надпись:

— Рубрика «Як запануваты⁴».

Речи вокруг, по сравнению с весной, мигом поменялись. Соседи и знакомые вслух радовались: «Слава Богу у нас быстро навели порядок, а то влипли бы вместе с колорадами, сидели б сейчас в подвалах под бомбами... У крымчан, конечно, не стреляют, но им тоже тяжко: без воды, без света. Нет, у нас благодать. Одумались наши дурноголовы, не дали стра-ну развалить».

⁴ Как выбиться из грязи в князи (суржик).

Тогда затворнице казалось, что война кончилась, тот кусок Донбасса, который русские успели ухватить, так и останется у них, это и будет знаменитая Новороссия. А она заживет с сыном в своей родной и славной державе. Сына скоро призвали, зиму он торчал под Дебальцево, чудом выбрался оттуда, вернулся с войны. Устроился в Бахмут на немецкий мебельный завод, получал неплохую зарплату, каждый год ездил в Бердянск на море. Там же проходил реабилитацию, нервные срывы его случались все реже. Он уже мог оставаться надолго один, в материнской помощи почти не нуждался, и затворница уехала из Бахмута, вновь вернуться в родной поселок, поближе к своей старушке-матери, за которой тоже требовался уход.

Солнце садилось, свет его, падавший из окошка вытяжной трубы, таял. Собака с котом так и не появились в этот день.

Она подошла к углу, где стояла икона, на ощупь отыскивала спички, зажгла свечной огарок. Это была не тонкая церковная свечка из воска, а стеариновый окамыш на толстой, как у боровика, ножке. Свет тоже необходим экономить, поэтому затворница быстро перекусила, напилась холодного чая. Потом недолго рассматривала лик Богородицы, хотела молиться вслух, но сил почему-то не было, чтобы шевелить губами, и она просила пощады молча, без слов.

...Затворница чувствовала, что рассудок туманится, сознание понемногу ускользает, бежит от нее, оставляет разум. Сегодня в утренних сумерках, едва стал проталкиваться из трубы свет, она заметила тень в углу. Ей вначале показалось, что это мать таинственным образом пришла к ней сюда, спустилась в подвал и теперь сидит в двух шагах от нее. Потом она смогла различить старушечье лицо и вздрогнула — в нем было что-то знакомое, виденное давно, в глубокой юности. Но разобрать, кто это пришел к ней нынче в гости, затворница так и не смогла, вздрогнула, моргнула глазами, проснулась... Или не спала она вовсе, и тень эта была здесь взаправду, а потом исчезла сама собой.

Затворница нащупала рукой бумагу, поднесла ближе к глазам. Света чуть прибавилось в ее убежище, он падал с потолка, оттуда, где она хотела устроить себе лаз. Стала перечитывать свой дневник:

14 марта. Пыталась сломать пол, чтоб вылезти, кричала, звала на помощь — тщетно. Сквозь щели увидела, что погреб как будто кто-то специально закрыл, чтоб меня не нашли: тяжелые ящики из-под кровати лежат прямо на крышке люка, и мешки, и глина. В общем, такую тяжесть мне не поднять. Устала. Буду ложиться спать.

В первых строках дневника почерк затворницы был размашист, расстояние между буквами и строчками вольное. С 15-го числа — места на листке оставалось все меньше, буквы мельчали, скукоживались, верхние строчки громоздились на головы нижних.

15 марта. Обед. Сегодня не так солнечно, как предыдущие 2 дня. Солнце в трубу не светит. Нет возможности полюбоваться лучиками, но небо чистое. Хочется лежать в теплом одеяле и ничего не делать. Нет сил морально пытаться открыть люк. Постоянно слышны какие-то выстрелы, но не близко. Мишка жив. Дала ему несколько бубликов (доской через трубу просунула).

16 марта. Стрельбы почти нет. Временами солдаты что-то обстреливают — заборы, наверно, одиночными. Пыталась снова выбраться, пробила дыру — увидела, что осыпался потолок до дранки и

кирпищи, плиты перекрытия. Все очень тяжело. Звала на помощь — никого. Самой не выбраться. Разве что весь пол раздолбать.

Руки ее, все в ссадинах, мелко дрожали от нервов и бессилия, волновался с тихим шелестом бумажный листок, все это время сохранявший цельность и ровность краев. Он до сих пор нигде не помялся. Ногой она нащупала и прокатила по полу кусок гнутой трубы, которой пыталась расковырять доски в полу, слабое ее орудие, призрачная надежда на спасение.

На трубу смотреть не стала, вернулась глазами в то место, где прекратила читать:

17 марта. 6 часов. Как обычно, что-то пролетело и скинуло снаряд вдали.

18 марта. Ночь была тихой. Не знаю, сплю я или нет. Бессонница. Молюсь за всех. Котенок балуется иногда. Мишку кормлю бубликами из трубы. Все, как обычно, грустно.

Затворница наклонилась над листком, сделала очередную приписку внизу:

19 марта. На рассвете были бои вдалеке. 10 часов, плачу и зову на помощь. Молюсь.

Места внизу листа хватало на пару дней, мелким почерком, самого краткого пересказа своих дел.

Оторвалась от бумаги, искала глазами механический будильник. По нему она вела отсчет часам и суткам. Телефон давно сел, да и сеть исчезла в первые же часы войны. Будильник стоял к ней тыльной стороной, спрятав циферблат и подставив на показ свою унылую рожицу: два маленьких реле для завода пружины, как печальные глаза, и посередине их — пуговка, подводит стрелки, похожая на маленький нос-картошку. Внизу изогнутая дуга, будто грустный смайлик, на концах которого минус и плюс — регулятор громкости звонка. Глядя в это печальное обличье, она вслух произнесла:

— С тобой, что ли, начать болтать? Как Том Хэнкс на острове... Я бы теперь с ним местами махнулась: тепло, солнышко, кокосы растут, и рыба кругом плавает... Подумаешь — москиты... На них бы я управу нашла.

Вместо кадров из голливудского фильма она вдруг вспомнила обрывок стиха из детского журнала... Августовское, печальное, совсем как рожица ее будильника. Всплыли строки, так и не вымытые из памяти многолетней суетой:

...И листьев желтый ворох,
И аромат лесной,
И сырость в темных норах.
А где-то за стеной
Будильник до рассвета
Стрекочет на столе:
«До бу-ду-ще-го ле-та,
До бу-ду-ще-го ле...»

Это был, кажется, журнал «Трамвай», его выписывали родители для младшего братишки. Затворница в то лето только вернулась со студенческой практики, их стройотряд мотало два месяца по просторам страны. В окрестностях Владикавказа они с девчонками штукатурили новую ферму. Общежития никакого в сельской местности не было, их расселили по дворам. Сама затворница и еще несколько подруг попали на житье к одной одинокой старушке: колхоз ей выделил продуктов, пообещал каких-

то денег за то, что она приютит молодежь и будет на них стряпать. Старушка первую неделю была нелюдима, неразговорчива, утром стояла у плиты, чтоб накормить их завтраком, носила черную вдовью одежду, на вид ей было за восемьдесят. Затворнице и ее подругам до всего этого дела не было, днями они пропадали на стройке, вечерами наскоро ужинали, грели воду, потому что условий для купания не было, кое-как обмывались в тесном закутке, стоя в тазу, и укладывались спать.

Однажды в воскресенье хозяйка выставила на стол кувшин домашнего вина: решила побаловать штукатурищиц. За вином пошли расспросы, разговоры по душам:

— Вы откуда, красавицы?

— С Украины.

— Народ у вас дружный живет?

— Конечно, дружный, бабушка. Чего нам делить?

— Это так, это так...

Хозяйка на миг мрачнела, о чем-то рассуждала своим, для девчонок непонятным:

— Вам повезло, у вас соседом русские... А нас всякие народы окружают. Сестра из Цхинвала пишет — неважные у них дела. Да и у нас тут не все гладко... Помилуй Бог — война...

— Да что вы, бабушка, какая война? — беззаботно отмахивались девчонки, хотя уже на всю страну гремели Карабах, Баку и плохие новости из Приднестровья.

Старуха не слушала глупую молодость, бормотала свое:

— Опять за оружие братья...

— А вы что, воевали? — немного притихнув, участливо спрашивали девчонки.

— Мои руки унесли много жизней, — говорила хозяйка и рассматривала разложенные на столе руки с узловатыми, распухшими в суставах старческими пальцами.

— Сколько же? — с затаенным страхом спрашивала молодость.

— Не знаю, может, десять, а может, и двадцать. Я в то время не считала, да и не каждого сосчитать удавалось... В одной роте с Розой Шаниной служила. Слышали про такую героическую девушку?

У девчонок вылетала последняя веселость и хмель, они с интересом глядели на старушку, ждали еще рассказов и подробностей, а она глядела на них — белокурых и русских славянок, ровесниц Шаниной, таких же молодых и красивых, какую Роза ушла в вечность...

Практика их закончилась, затворница вернулась к себе домой, прочитала стих на последней странице цветастого «Трамвая», отучилась последний год, получила весной диплом и снова рванула с бригадой отделочников по стране. Вернулась из своего «турне» беременной. Проматывая в голове всю эту давность, она вдруг вспомнила, что старуха, пригрезившаяся ей сегодня утром, была похожа на ту хозяйку, у которой жила она тридцать два года назад.

Тишину, стоявшую в поселке с момента утренних боев, опять нарушила близкая стрельба. Через короткое время совсем рядом с домом затворницы загудело разом несколько моторов. Она хотела броситься к своему «рупору» — единственному окошку с белым светом, и тут же почувствовала ватную тяжесть в ногах. Кое-как поднявшись со своей лежки, затворница доковыляла до стеллажей, вскарабкалась. Уже слышны были мужские голоса в ее дворе или у соседей, уже различались некоторые слова:

— Давай, Русь, — не трусь! Нечего тут сидеть, собирайся быстро, поехали отсюда.

Говорил кто-то с легким налетом нездешнего акцента. Мужчине отвечал женский заполошный голос, одновременно радостный и тревожный; из-за гула дизельных моторов слов было не разобрать.

Затворница стала кричать в трубу свои привычные слова, раз и другой. Ей показалось, что голос ее слаб по сравнению с прошлыми днями, когда силы еще ее не оставили. Мужской голос насторожился:

— Тихо-тихо! Всем тихо! Где-то кричат...

Затворница простонала:

— Я тут, в подвале... Дом с зелеными окнами, шиферная крыша!.. Вы ж рядом совсем!..

По дому скоро загремели шаги, затворница перелезла по полкам от трубы к проделанной в потолке подвала щели, стала звать оттуда:

— Я тут... Тут! В подвал через люк надо попасть! Люк завален... Тут он — в углу!

Ей казалось, что идут к ней безумно медленно, через разбитый, заваленный строительным мусором дом, потом очень долго освобождали дверь в подвал. Она все так же стояла на полке, боялась отойти от щели в потолке и потерять связь с внезапными пришельцами.

Крышка люка откинулась, в подвал упала труба дневного света. По приставной лестнице забарабанили оливкового цвета берцы, следом появились такие же штаны, тело в бронежилете, обвешанное оборудованием, альпинистскими карабинами, снаряжением, в руках не было оружия. Среди цветастых нашивок мелькнул бело-красно-желтый флажок на рукаве, шильдик с фамилией у сердца «А. Техов», на другой стороне груди — зеленый, вышитый нитками девиз: «Убиваю драконов, спасаю принцесс». Бородатое лицо, широкий лоб и каска. Он полсекунды осматривал внутренность подвала, нашел обитательницу, ни разу не поменялся в лице, разглядев ее:

— Давай руку, принцесса. На волю пора.

Тут он понял, что передвигаться ей самой очень тяжело, спустился в подвал до конца, стал помогать. В то же время спрашивал:

— Что болит? Где? Идти можешь? Документы есть какие? Бери с собой.

Затворница растерянно обхватила руками остриженную, закутанную платком голову, проковыляла к лежке, достала из-под одеял папку с бумагами, напоролась взглядом на листок своего дневника, успела его прихватить и сунуть между синим паспортом и старой семейной фотографией, где мать молодая, отец еще живой, а брат не уехал в Луганск.

Ее принимали наверху сильные и осторожные руки. Только выбравшись на свет, затворница поняла, что на земле все еще воюют: не далее как на окраине поселка шел бой. В доме было человек пять. Одни сидели у заваленных хламом окон, поглядывали на улицу, другие помогали затворнице выбраться. Один невзрачный, заросший до глаз бородой, ласково, почти с нежностью уверял:

— С нами Бог, с нами Бог. Мы православные, — и показывал на пальцах птичку латинской буквы.

У него на бронежилете посередине была нашивка: «Стой на светлой стороне».

Они выбрались из ее разбитого дома, стали пробираться дворами — через поваленные заборы, через пригнутую к земле и частично разорван-

ную рабину, глубоко проваливаясь в размякшую жирную землю. Появлялись еще гражданские: пожилые, старухи, соседи и знакомые, такие же неузнаваемые, как и сама затворница. Одна бабка бормотала:

— Чую, кажутъ⁵: «Аллах акбар!» — слава Богу, наши приишлы!

Их вели по улицам, затворница иногда вертела по сторонам головой, пытаясь узнать изменившиеся дома. В распахнутых окнах сквозила расплюснутая жизнь, битое стекло сервантов и чайных сервизов, советского хрустала и припорошенных штукатуркой ковров. Попался бездвижный КамАЗ болотного цвета, со спущенными баллонами, с круглыми дырками в лобовом стекле и двери, с багровыми следами от пальцев: кто-то вслепую пытался нащупать дверную ручку, видимо, так ее и не найдя.

Люди сбивались в кучу, к ним все время подходили новые, солдаты в колонне менялись. Затворница разглядела за спиной у одного из них брезентовый чехол для неведомого ей оружия. Из чехла торчала рыжая голова ее кота. Он ехал на спине солдата и был спокоен своей котовой правой. Она подобралась ближе к солдату, залезла в чехол руками, достала кота:

— Нашелся, мой родненький... А где ж наш Мишка? Пропал, пропал Мишка...

Солдат, чья ноша уменьшилась на один кошачий вес, обернул свое русское лицо:

— У вас ребенок пропал?

— Нет, собака... А еще у меня мать пожилая на другом конце поселка.

— Если живая, то выведем. Всех живых выведем, — заверил солдат.

На редких уцелевших воротах стояли восьмиконечные кресты, читались надписи мелом: «Здесь живут», «В доме люди». Кое-где отметилась воинственная пришлая бравада: «На Вашингтон — через Киев».

Группу, где была затворница, вывели на центральную площадь. Рядом с администрацией все еще висел потрепанный, грязный и несвежий желто-голубой флаг, никому не было до него дела. Постамент под зеленой «тридцать четверкой» сильно пострадал от близких взрывов и осколков, у самой машины свисала сбитая гусеница, но танк все еще был на своем законном месте. В десятке шагов от постамента громоздился остов современного танка, рыжий от вырвавшего ему нутро огня, закоптелый с передка, лишенный башни. Площадь была завалена танковыми катками, распоясанными гусеницами, прочим военным хламом.

Из выемки за мусорными контейнерами виднелась пушка свежего, пока еще не покореженного войной танка. Он был бездвижен, но не возникало сомнений — он на стороже, готов к драке. За углами домов, в проулках виднелись машины поменьше, с неведомыми для затворницы названиями, с хищными дулами стволов. Среди латинских зетов и прочей атрибутики попадались именные названия: «Укропокоситель», «Дырокол», «Экзорцист».

Всех людей собрали в здании администрации, велели подождать, оставили несколько солдат для надежности и охраны. Затворница присела на пол, прислонилась спиной к стене. По полу стелился бронзовый ковер настрелянных гильз. Рядом с собой она разглядела обломок пластиковой вилки, донце от керамической чашки, битое стекло и заплесневелый батон белого хлеба.

⁵ Слышу, говорят (*суржик*).

Стены внутри администрации тоже успели опоясаться граффити. Белой краской из баллончика по-детски было нарисовано солнце и надпись: «Давайте жить дружно». Ниже таким же белым цветом — возможно, из «затрофеечного» баллончика — значилось убедительное согласие: «Давайте, не нужна нам живая русня». Чуть дальше по стене ползло послание: «Свинорусы! Знайте, мы вернемся, и вы пожалеете, что не сдохли раньше».

Затворница сомкнула веки. Не хотелось искать среди других гражданских своих друзей и знакомых, не хотелось ничего обсуждать. На руках угрелся кот и мурчал.

Прошло около часа, бой на окраине стихал. Один из военных, оставленный с мирными, поговорил в рацию на непонятном языке, скоро раздалась команда:

— Поднимаемся, на выход. Хохлов от поселка отогнали. К фермам автобусы приехали, идем сейчас туда. Вас отвезут в полевые центры помощи. Там дадут поесть и поспать, кому надо — окажут медпомощь. Встаем на ножки, поживее.

Толпа вышла через черный ход, пошла задворками через поселок, площадь с разбитыми и уцелевшими танками осталась позади. До фермы отсюда было недалеко; сквозь голые, потемневшие от мартовской сырости ветки угадывался серый корпус, пустовавший с конца 90-х.

Они остановились еще разок, чтобы дать перевести дух пожилым и ослабевшим, в запущенном саду, где старые груши затянуло сухими лианами плюща и дикого винограда. Здесь тоже прошла война: землю взрезала парная колея, две широких борозды. В колее стояла прозрачная вода. На дне ямки лежал и глядел на мир сквозь воду полимерный чебурашка. Краски его выцвели, выдающиеся уши облупились, а глаза все еще оставались живые. Полумесяц рта складывался в скромную улыбку, милый смайл из электронного сообщения.

Рядом пахали землю мощные корни старого тополя, приподнимали дерн, рвались из недр наружу. Под тополем стоял сарайчик для садового инвентаря, на его стенке, обшитой пластиковыми полосками, вывела рука фронтového философа черным маркером: «Мой гроб еще шумит в лесу — он дерево, а не нянчит гнезда».

Невдалеке около пустой фермы виднелся белый автобус с укрытыми маскировочной сеткой боками. Возле него уже толпились люди. В одной сидящей на земле старушке затворнице изо всех сил хотелось угадать свою мать. Еще верилось, что в Бахмут война не придет или проскочит этот город скоро, надолго в нем не задержавшись, и что сына ее, до конца так и не залеченного с прошлых боев, не мобилизуют на этот раз. Только теперь она почувствовала что-то схожее со свободой. Кот на руках ее мурчал, перед носом все еще маячила пустая брезентовая сумка, где кот ехал по этому, качался матовый автомат, упрятанный за железной накладкой оружейный затвор.

Вечером в палаточном лагере вновь прибыло народа. Одну партию увезли дальше — по направлению к Белгороду, на освободившиеся койки угодили новые жильцы, вывезенные из-под огня.

Молодой фельдшер в бордовой медицинской спецовке остановился у столика, заваленного лекарствами, детскими сладостями и прочей мелочью, увидел бумагу, посеревшую от пыли, исписанную ровными буквами, убористыми строками. Обычный лист, формат А4. В самом низу листа почерк кардинально менялся, словно принадлежал другому человеку,

становился витиеватым, с претензией на красоту и праздник. Стояла финальная запись: «*Пришли осетины и спасли. Спасибо!*»

Нижним венцом значился размашистый автограф.

Фельдшер достал телефон, отодвинул мешавшие предметы, щелкнул дневник на память. Кругом стоял шум общежития: сдержанные в играх детские голоса, пошаркивания, старческое привычное ворчание.

ЮБИЛЯР

Иногда вскочит посреди ночи в соседней комнате ребенок или коротко вскрикнет во сне, а может, просто сбегает на кухню попить и, возвращаясь, неосторожно хлопнет дверью, а ты потом лежишь два часа с закрытыми глазами, и в них ни капли сна, перебираешь в памяти давно ушедшее. Свет фонарей и поздние огни квартир дробятся в лужах, как осколки луны, легкий ночной ветер колышет занавеску в распахнутой форточке и твои воспоминания. Для чего-то даются нам эти бессонные ночи.

Варламов проспал часа три, не больше, и проснулся, сам не зная отчего. С вечера он долго ворочался, не давала уснуть сцена на работе, чуть было не вылившаяся в скандал.

...В горьком их собрали за день до этого, сказали, что на конец августа запланированы торжества, невиданный праздник — День города. Здесь были представители от культуры, из профкомов и месткомов, секретарь комсомольской организации, люди из органов образования и он, Варламов, — глава районной прессы. Услышав эту новость на совещании, никто не удивился: за последних три года все привыкли к разного рода модным новшествам и ветрам перемен, порожденным перестроечной эпохой. Областной город два года назад 400-летие широко отметил, и в районы тенденция перешла. Варламов схватывал слова на лету, думал, как он со своим коллективом будет поздравлять юбиляра.

На следующий день он собрал своих сотрудников на совещание, без расхолаживания начал:

— Поставлена перед нами задача: достойно отметить День нашего города. Кроме того, в этом году юбилей Горького. Не мне вам объяснять, какое отношение этот человек имеет к нам.

В уездный город Б. занесло Алешу Пешкова «на зоре туманной юности». Молодой странник искал себя, мерил страну шагами, всматривался в человеческие души, черпая в них материал для своей будущей плодотворной литературы — или попросту, как тогда называлось, ходил в люди. Он прожил одну зиму на станции близ города, охраняя пакгаузы с мукой, брезентом, мануфактурой и прочими товарами, некоторое время работал на станции самого города Б., и памятник ему, стоявший на привокзальной площади, равно как и саму личность Горького, все жители города знали с младенчества.

— Выходит, у нас целых два юбиляра? — уточнила Зинаида Павлова, отвечавшая за рубрику домоводства на последней странице районного издания.

— Именно так, — согласился Варламов. — Городу — двести девяносто, Горькому — сто двадцать и...

— А мне, пожалуйста, полста и селедку под шубой! — перебил главреда пожилой сотрудник пенсионного возраста, которому многое было позволено и многое прощалось.

По штату пробегал сдержанный смешок, Варламов тоже коротко и тактично улыбнулся:

— Спасибо, Юрий Лукьянович, за ваше остроумие, оно помогает нам, но давайте вернемся к работе.

Однако сквознячок неформального момента породил среди сотрудников легкий гомон:

— Раньше юбилеи революции отмечали, комсомола там, пионерии, других дат, почетных работников славили или орденосцев поздравляли, а теперь и про город надо.

— А тут та же самая история выйдет: про надои напишем, про новое рацпредложение на заводе — и готова статейка к празднику.

Варламов постучал оборотным концом шариковой ручки по столу, как школьный учитель:

— Товарищи, потише. Итак, существует тенденция: отметить юбилей города именно в тесной связке с юбилеем Горького — тем самым бьем двух зайцев с маху. Я, пока сидел на совещании, набросал себе некоторые наметки того, чем мы можем порадовать читателя. Следует сделать блок емких статей, приуроченных к будущим торжествам, и давать их в каждом номере отдельной рубрикой. Естественно, начать нужно с краеведения: наш город в истории и в судьбе страны. Тут, я думаю, никто лучше Юрия Лукьяновича не справится.

Работающий пенсионер едва заметно приподнялся и кивнул головой: «К сведению принял, будет исполнено». Варламов листал свой блокнот:

— Далее. Само собой необходима статья о Чкалове. И здесь же — о нашей школе летчиков, проследить всю ее эволюцию от зарождения к преобразованию в высшее авиационное училище. Это поручается нашему Владимиру Александровичу. Теперь отойдем немного от человека, оставим его в покое. Нужна статья про природу. Тут нет равных Олегу Андреевичу. Напишите нам про заповедник и всю тамошнюю живность, вы у нас Песков с Дроздовым в одном флаконе.

— Разрешите мне статью про Рыбникова, — попросила Зинаида Павловна.

— Это несомненно, — поспешил заверить ее Варламов. — Мы помним, что вы ходили с ним в один класс, пока Николай Николаевич не переехал.

— Кстати, а может быть, его и на торжества позвать? — предложил Юрий Лукьянович.

— Об этом уже в культуре думают, хотят через область действовать, — пояснил Варламов.

— И этого бы хорошо, Ильченко, тоже, — вслух мечтал Юрий Лукьянович. — Может, он и Карцева с собой подхватит, вместе перед народом выступят, повеселят публику.

— Зинаида Павловна, сделайте еще статью про Ильченко, раз вы у нас за актерский состав отвечаете, — попросил вдогонку Варламов.

Он снова зашелестел листами блокнота:

— Так, кто у нас еще остался без дела. Ага, Паша. Не думай, что я про тебя забыл.

Самый молодой сотрудник газеты улыбнулся:

— Я и не мечтал о таком «счастье». У меня, кстати, есть мыслишка насчет статьи к юбилею.

— Любопытно, — поощрил его заинтересованным взглядом Варламов.

— Она будет называться: «Исторические названия районов города и их происхождение». В ней я рассматриваю такие места, как Ворово, Кирпзавод, Лахмутовка, Макуревка...

— Достаточно! — оборвал его Варламов.

— А можно я еще упомяну про то, как в 30-х годах местная интеллигенция хотела переименовать город в Колхозград? — не унимался молодой репортер.

— Паша! — украдкой шикнула на него Зинаида Павловна. Она имела на это право, «юнкор» являлся ей родным сыном.

Паша, год назад пришедший в газету после журфака, нигилизма своего не скрывал, работал из-под палки, с ленцой. Все понимали, что рос он у матери-одиночки человеком безвольным: с одной стороны, избалованным, а с другой — полностью затюканным и подчиненным ее управлению. Выбор профессии для позднего ребенка Зинаиды Павловны был, конечно же, ее выбором, а не его. В институте, выйдя из-под материнской опеки, он немного окреп, зародилась в нем самостоятельность.

— Нет, дорогой мой человек, — выдержал на Паше долгий взгляд Варламов. — Ты как честь, ум и совесть нашей эпохи напишешь про Горького, а заодно и про марксистский кружок, организованный в городе Ададуровым.

— Как скажете, Николай Петрович, — выразил поддельную покорность на лице Паша. — Нам это дело привычное. Небо у нас самое голубое, реки самые глубокие, горы самые высокие.

Редакция в полном составе затихла, с любопытством ждала, куда вынесет молодого смутьяна и как на это отреагирует главред Варламов, сам еще недавно простой репортер, севший в кресло начальника не больше года назад, сменив там заслуженного Юрия Лукьяновича. Пашу никто не пытался останавливать, даже мама, и бунтаря несло:

— Все у нас лучшее в мире. Даже Горький был. Писать про него одно удовольствие, я бы даже сказал: гордость за душу берет. И как удачно момент совпал — век назад великий классик на нашей земле жил. Только за это время ни черта у нас в городе не изменилось. Все те же Африканы Петровские, Лески Графовы и писаки Старостины кругом нас.

Варламов вспыхнул:

— Про Старостиных это ты не на меня ли намекаешь?

— При чем тут вы? В кого не плюнь — в Старостина попадешь, — открыто насмеялся юный наглец. — Война конъюнктуре объявлена, а боремся лишь на словах. Ну, зачем мне ваш Горький, скажите?

Варламов сидел, опустив глаза к столу. Ему не было стыдно перед Пашей за свою профнепригодность, о которой он и так знал. Были люди в редакции, что писали лучше Варламова, а он в кресло главреда угодил благодаря хорошим административным навыкам. Он просто смирял себя, чтобы не сорваться в крике на этого неопытного юнца.

Наконец подняв глаза на него, Варламов холодно спросил:

— И про кого же ты хотел бы написать?

— Про Платонова, например, — выждав короткую паузу, ответил Паша.

— Это про какого? — уточнил Варламов.

— Про Андрея. Слыхали?

Варламов, едва сдерживаясь, процедил сквозь зубы:

— Слышал, конечно.

И снова опомнившись, уже более мягко прибавил:

— Недавно в книжном «Чевенгура» купил, все руки не доходят прочитать.

На самом деле он не покупал этой книги, ее ему подарили. Подарили люди, не читавшие книг со средней школы, но, как и все советские граждане, державшие дома библиотеку и радовавшие друг друга модными книжными новинками вроде «Чевенгура» или «Щепки».

— Откуда у тебя сведения, что Платонов был у нас? — спросил у Паши немного ошарашенный Юрий Лукьянович, назначенный ответственным за статью по краеведению.

— Сведений нет, одни догадки, — запросто ответил вчерашний студент. — Раз в девятнадцатом был Платонов по соседству, мог и к нам заскочить.

— Ты мне бросай это «было-не-было», работа репортера этого не любит, — наставлял неопытного птенца старожил Юрий Лукьянович, буд-то снова почувствовав себя в кресле главреда.

Папа почти возмущился:

— В Рогачевке на лингвистической практике местные бабки до сих пор к сараю всех желающих водят и заверяют, что в сарае этом дизельная электростанция стояла, самим Платоновым построенная. Могли бы и у нас такую же легенду выдумать.

— Но выдумывать-то зачем? Сочинять зачем? — не вытерпел Юрий Лукьянович, приняв слова Паши как личный вызов.

— А вы мало сочиняли за свою жизнь? — с ироничной улыбкой удивился «юнкор». — Про удои, урожай, звездопады на героическую грудь очередного юбиляра? Так пишите правду, кто же вам мешает? На экологию всем плевать! Над Америкой пять лет назад смеялись: «Поглядите на гнивающий запад — у них СПИД». А у нас он откуда теперь, если мы не гнивающие? Откуда дедовщина в армии, откуда наркоманы? Даже Поляков с Айтматовым уже трубят на всю страну... У нас же пудовые замки на губах навешены — табу! Только и знаем: помпезные статьи для юбиляров верстать...

Варламов заметил, как закипает Юрий Лукьянович, решил тут же это пресечь и, громко постучав ручкой о стол, объявил:

— Перерыв! Всем на перекур!

Юрий Лукьянович сдержал себя, хотя было заметно, какое он делает усилие. Все незамедлительно вышли, немного отстали Паша с Зинаидой Павловной, она ему что-то попыталась сказать негромко, но не успела, он рванул вперед, даже задел в дверях кого-то.

Варламов открыл настежь форточку, полез в пиджачный карман за сигаретами. Затянувшись табачным дымом, он «по-стариковски» задумался: «Неужели и мы были такими? Тоже ерепенились, доказывая бойкую правду, обижали нас на свою незначимость. В нашем нигилизме была своя пословица: “Нужно книжки умные читать, меньше старших уважать”. И зачитывались Ремарком, Чапеком, стариной Хэмом. Теперь настало время Платонова и Замятина. Вечером обязательно найду минуту, съем хоть страниц двадцать этого “Чевенгура”. А ведь мальчик прав: работа наша бесполезная... Мы же не клянемся матери в любви за то, что она нас родила и воспитала. Может, и здесь не стоит? Напрасно все это я задумал?»

Он вернулся к рабочему месту, взглянул на фотографию, упрятанную под толстой прозрачностью стекла, покрывавшего крышку канцелярского

стола. Оттуда глядел на него сам он — семилетний малец, молодая, но потрепанная военными годами мать и только что пришедший с войны отец с медалями на груди за победу над двумя державами.

Его понесло в детство, которое теперь зовут беззаботным, но ему, Варламову, и его ровесникам оно таковым не запомнилось. Варламов закрыл глаза и без труда увидел перед собой замороженную стенку их деревянного барака, ведро воды у порога с коркой льда, постоянно юркающих мышей под ногами, черствую корку хлеба, горькую от слез и суррогатов, слышал ночной кашель матери. Люди за четыре года бескормицы и горя стали жестокими и злыми, но Варламов не знал об этом, они для него с самого рождения были такими. Мальчишки дрались по самому мелкому поводу, на улицах и рынках стояла частая ругань, от бабьих причитаний не смолкали барачные углы, не просыхали от слез концы черных женских платков.

Только когда объявили победу — стало немного легче. Те из женщин, что не получили похоронок, с облегчением выдохнули: «Теперь точно дождемся».

Не забывалась всю жизнь особенно одна... в тот самый светлый день, в начале мая...

Она жила в соседнем доме, комната ее была на первом этаже. Совсем еще молодая, вышедшая замуж за день до войны. Черноволосая, высокая, дородная, не утратившая силы даже за эту вымотавшую всех четырехлетку. В то утро ее разбудил бодрый голос из проводного черного «лопуха», висевшего в коридоре коммуналки, — мир пришел! Грянувшей вестью ее подбросило с кровати, вымело из комнаты.

Она бежала по улице в чем мама родила, босая, растрепанная со сна, махала над головой зажатым в руке васильковым халатом, прихваченным на ходу из дома, но так и не надетым от великой спешки и радости, и беспрерывно голосила: «Победа! По-бе-дааа!..»

Из соседних дворов, из ближайших закоулков и лежавшего рядом частного сектора бежали на этот крик люди. Сияла ее улыбка на всю улицу, по щекам катились градом слезы, она обнимала всех без разбора: стариков, женщин, крохотных заспанных детей, девчонок и мальчишек; забыв обо всем на свете, кроме этого единственного, сотрясавшего всю ее слова. Никто не спрашивал у нее, откуда она узнала о победе, но никто не сомневался в правдивости этой ее выстраданной радости.

Улица мигом наполнилась ликующими голосами и смехом, скакали вокруг дети в ночных рубашках и распашонках. Старухи, встававшие до свету, уже облаченные во все свои фартуки, платки, юбки и кофты, не сдерживая себя, размашисто крестились и плакали. Чувствуя людскую радость, подпрыгивала и повизгивала бело-рыжая дворняжка, мотая хвостом, скрученным в бублик. Одну бабу отливали посреди огорода водой — услышав о победе, она выронила лопату и лишилась сознания от счастья. Из чьей-то комнаты вынесли маленький вымпел, алой каплей он метался среди белых ночных одежд. И она металась среди людей — молодая, красивая, деbeatая, так и не одетая.

Ей навстречу выбежала подруга, тетка Василиса, рубаха ее топорщилась от беременного пуза. Муж Василисы приходил на костылях прошлой осенью, долго был дома, залечивая раны, и снова ушел на войну. Не боясь навредить будущей роженице, несущая победную весть натолкнулась на ее пузо своим плоским смуглым животом, крепко обняла подругу, сжи-

мала ее шею рукой с зажатым в кулак васьмовым халатом, второй — утирала Василисе слезы, не заботясь о своем мокром лице... и сияла, сияла улыбкой!

Сытнее сразу не стало, и холод из барачных углов никуда не выветрило, а все же люди после того дня стали меняться, Варламов это замечал, хоть и было ему тогда всего ничего от роду.

Отца он не видел, как и отец не видел его. Варламов родился на второй неделе войны — отец в это время двинулся к фронту. У многих ровесников Варламова и других детей из барака отцы пришли сразу после победы, возвращались в течение всего лета и осени. Пришел муж Василисы, поспел ровно к родам. Вернулся муж вестницы победы и неудержимо хохотал, когда ему рассказывали, в каком виде бежала его женушка, оповещая всех о великой радости и радуя одним своим видом.

Варламову же и матери приходили только письма. В них отец сообщал, что из-под Кенигсберга их перекинули на Дальний Восток, а там, победив японцев, он ждет, когда в армию призовут новое подростковое поколение — мальчишек двадцать восьмого года выпуска, ведь армия наша обескровлена, служить в ней некому, а потому и не увольняют его, и должен он оставаться на страже родины.

Варламов с завистью следил за пацанами, к которым вернулись отцы. У них и достаток был совсем другой, и мамкам ребятишек была защита перед заводским начальством — фронтовики в первые годы после войны имели вес и никого не боялись. Да и это было не главное... Редкими вечерами по весне вся их мальчишеская шатия рассаживалась невдалеке от мужиков, баловавших себя редкими выходными завезенными в город пивом. И тут только уши отворяй для просыпанных мужицких разговоров:

— Это у нас еще фронта не было... Ты в Воронеж поезжай — вот где разруха. Сейчас еще ничего, развалины там разгребли, строиться начинают, а когда только освободили — камня на камне не осталось.

— Все одно — как в Сталинграде, нигде так уже не будет.

— Ага, расскажи, это ты Дрездена не видел после американской бомбардировки.

— Так я про наших, а не про немчурку фашистскую, им так и надо.

С каждой опрокинутой кружкой языка развязывались:

— После боя иду мимо трупа, вижу — часы. Нагнулся снять, а он, собака, даже не раненый, хватя меня за руки, аж гимнастерка на мне треснула. Свои ребята рядом, в тридцати шагах за бугром идут, маршируют дальше, а во мне от страха и голос пропал. Чую: правая рука у него немного ослабла — готовится за финку схватиться. Я тогда ногами оттолкнулся, кувырок через голову сделал, пистолет достал — и девять патронов в него. Ребята кричат из-за бугра: «Чего ты, Ильич?» Да тут, говорю... голос опять у меня прорезался.

— Ну, а часы-то снял с него?

— Взводному отдал в тот же вечер. Сам носить не смог.

Были среди ветеранов и другие, надломленные если не телом, так духом. Варламов учился видеть несчастье во взрослых людях, казавшихся ему такими нерушимыми. За барачной стеной у них жил одинокий сосед — брошенный изгой, пьяница и неудачник. Он отбыл год на фронте, год в немецком плену, потом бежал, полтора года сражался бок о бок с югославскими партизанами и после фильтрационного лагеря три года

провел на сибирском лесоповале. Мужики его часто расспрашивали о жизни среди сербов, он отмалчивался, хотя постепенно приятелям удавалось выуживать из него по слову.

— Я уже и язык их почти выучил... И Дарница меня шибко любила, не хотела от себя отпускать... Детишек бы с ней народили... — подперев унылую голову рукой, говорил он горьким и хмельным голосом.

— А отчего ж не остался? Чего тебя сюда понесло? — жалели одинокого, не могшего найти себе жену изгоя.

— Что ж я, любовь на родину променяю? — сокрушался он, снова ронял тяжелую голову на руки и стонал: — Она клялась, что поедет за мной следом, а теперь сыщи попробуй... Может, ихнии власти не отпускают, может, наши не хотят впустить...

Мужики сочувственно замолкали.

Но больше всего Варламову нравились откровенные небылицы:

— Однажды заплутали с приятелем, долго шли полем и в сумерки набрели к своим траншеям. Дело было в Белоруссии. Глядим — вроде наши: тоже в погонах, только вместо пилоток фуражки. Думаем, что за чертовщина? Переобмундирование, что ли, у них? Говорят — истинно на нашем. Один смотрит на мои медали — за Москву, за Сталинград, спрашивает: «Это вы врага до самой Москвы пустили? А что за город такой Сталинград? В Польше, что ли?» И у каждого «Слава» на груди болтается, а то и по две. Потом пригляделся — вместо звезды крест к орденской колодке прикреплен: старые награды, выходит, у них, царские еще. А молодые все, такие ж, как мы.

Рассказчика подняли на смех:

— Это вы навроде в прошлое попали? Вот заливает-то!

— Да погоди, не мешай. А как же вы назад со своим приятелем к нам вернулись?

Рассказчик на сомнения и смешки не обижался, неколебимо объяснял дальше:

— Хотели они нас разоружить да в штаб направить, как шпионов, а тут артналет начался, стали мы от бомб хорониться. Когда кончилось все, глядим — земля дымит, воронки, а рядом наши ходят — и ордена на них как на нас, и оружие. В общем, перелетели мы обратно.

Это говорил мужик не шибко старый, но с лицом, изъеденным морщинами такой глубины, что, казалось, они отпечаталась у него на черепе. От мальчишек Варламов слышал, что ему удалось выжить после пули, угодившей в голову. У него был неживой, стеклянный глаз, тоже старивший фронтовика, лунка в виске, а морщины — только на половину лба. На остальном месте — железная пластина, натянувшая кожу и не позволившая ей ложиться в складку. Два часа, по слухам, он полз к своим окопам, а потом потерял сознание на полгода.

Варламов представлял в эти минуты, как и его отец вернется таким же сильным, несломленным, готовым вытянуть свою семью из любой нищеты и пропасти, будет рассказывать что-то жуткое и необъятно интересное. Он тоже будет обнимать отца, трогать его награды и гордиться им. Ему было невероятно жаль себя в эти минуты, но он глядел по сторонам, видел Таньку, Витьку и Димку, Кирюшу и Машку и понимал, что он счастливее их, ведь они своих уже никогда не дождутся.

Танькина мать откуда-то узнала, что на Валааме всех немых, слепых, парализованных, кто память потерял в горячей воронке вместе с руками, ногами и документами и о себе сказать ничего не может, всех бесхозных

инвалидов собрали, и ездил туда, но вернулась одна. Поговаривали, что она нашла своего мужа, но отказалась в последний момент, не стала забирать. Наверняка ввали, чтобы опорочить чужую верность.

Варламов вспоминал все это сегодня полдня и весь вечер, когда вернулся с работы. Он открыл «Чевенгура» и попытался прочесть несколько строк, они выпадали из его сознания, ничуть там не задерживаясь. Вот и теперь он проснулся от тревожных мыслей.

Он лежал в постели, слышал ровное дыхание супруги. Под окном остановилась машина и затихла, выключив свое бензиновое сердце, медленно журчала вода в сливном бачке ватерклозета. Сна не было. Отчего-то больно щемило в груди, совсем как в пятилетнем возрасте, когда чужие отцы сидели во дворе, с трех сторон обставленного бараками, и травили свои фронтовые байки. Он сотни раз представлял, как полетит на встречу своему сильному непобедимому отцу...

Это было ранней осенью сорок восьмого, они с мальчишками играли на задворках, он сильно получил в ухо от кого-то из старших, но не завыл, не стал кричать, что пожалуется мамке, а, как всегда, ушел в сторону, потирая ушиленное место. Среди мелюзги пробежал интерес:

— Гляди, солдат идет с чемоданом.

— Вот свезло кому-то...

— Это не наш, не здешний.

Семилетний Варламов подбежал к толпе, в груди трепыхалась раненая синица — он рад был дать волю своему ожиданию, но сам в себе подавлял ее, боясь спугнуть робкое счастье.

На дороге стоял незнакомый мужик, на одной руке его висела серая шинель, в другой он держал ручку фанерного ящика. Солдат увидел подскокившего к ребятам мальчугана, тут же узнал его, хоть никогда до этого не видел, подошел вплотную. Лицо его морщилось, по нему текли слезы. Солдат выронил весь свой скарб, опустил перед ребенком на колени, нащупал его ладони, склонив голову, стал их целовать:

— Здравствуй, сынок... Теперь мы долго с тобой будем жить...

Отец был жалким в эту минуту, со всеми звонкими медалями на груди и нашивками за ранения. Варламов помнил, как ему было противно на него смотреть. Он рисовал себе их встречу по-иному.

...Варламов встал, ушел курить на кухню.

Отец умер в прошлом году, нынче бы ему тоже праздновали юбилей, он самую малость не дотянул до него. Уходили один за одним фронтовики из их барачного двора, давно расселенного в хрущевском квартале: кому-то до сих пор не давали спокойно уснуть фронтовые раны, кого-то раньше времени уносила водка. О них статьи не напишешь — и к городу, составленному из камней и асфальта, их не прилепишь.

Варламов докурив вторую сигарету, решил поставить чайник, обезоружил его носик, вывернув железную пипку свистка. Сон выветрился окончательно, да ему и не хотелось, чтобы он вернулся. Кружились в голове воспоминания, от них теплился внутри слабый огонек, не затухший прожитыми годами.

В конце пятого курса после заключительной практики Варламову предложили не бог весть какое местечко, откровенно говоря — неказистое, но зато в областной газете. Там, на практике, он впервые понял, что высокие кресла занимают не те, у кого выходит статьи погорячее, а совсем другие кадры. Он приехал домой с радостной вестью, думал, что обрадует родителей, а у самого стучалось в голове: «Как же я смогу без род-

ного оркестра на тлейней танцплощадке, без ежемесечных походов в Народный драмтеатр, без этих улочек и скверов? И на рыбалку я привык только дома ходить...»

Отец и вправду обрадовался, но, когда ушла мать в другую комнату, посерьезнев, сказал: «Всякий кулик свое болото хвалит. Думай, сынок. И еще мою присказку хоть иногда вспоминай, про две луны. Не забыл?»

В детстве отец иногда баловал Варламова сказками собственного пошиба: «Раньше было на небе две луны: одна большая, пузатая, важная, в три раза больше от настоящей — нынешней. Ну, и наша, соответственно, была — неподалеку от той, огромной, располагалась. И всю жизнь великая на малую высокомерно поглядывала и от важности еще больше становилась. А наша малютка знай живет себе, соседку даже не замечает. И вот дулась огромная луна от важности, день за днем дулась, да так и лопнула, разлетелась на тысячи кусочков. Звезды, что нашу малую луну окружают, — это и есть осколки той важной луны».

Кончались госэкзамены, не за горами защита диплома, пора было определяться, выбирать свой путь. Варламов сидел на берегу Вороны с удочкой и не ждал никакого знака судьбы, однако она ему этот знак подкинула, или он сам себе его выдумал.

Совсем рядом паслось стадо из близкого селения. Два лесных зазубня подступали вплотную к реке, образуя неширокую луговину. Солнце клонилось к закату, и пастух то и дело поглядывал на ручной циферблат, выжидая подходящей минуты, когда можно будет развернуть коровенок головами к дому. Из правого густого зазубня неторопливо вышел сохатый, венчаный костяной «короной». Коровы поднимали головы от травы, замирали, и даже челюсти их переставали жевать. Лось невозмутимо шел сквозь стадо, не убыстряя шага, не одаривая коров своим взглядом или поворотом головы. Он знал, что здесь его владения и показывал, в том числе и человеку, кто здесь хозяин. Завершив свое дефиле, лось так же неторопливо скрылся в противоположном крыле чащи.

Варламов сказал себе тогда: «Зверь принадлежит дикой природе, а я — родному городу, и мне от него не оторваться».

Он вспомнил, как бежал с девушкой по улицам города, накрытого июльским ливнем, как прятался с нею от небесной воды, укрывшись под балконом двухэтажного купеческого особняка, нависшего массивной глыбой над уличным перекрестком, и знал, что не сможет прожить без боя башенных часов на главной площади города, без маячившей на горизонте трубы пивзавода, похожей одновременно на мачту и гигантский громоотвод под жестяным козырьком, без этих резных ставней, карнизов, дверей, наличников, рам и коньков...

Закипевший чайник бесшумно выбрасывал через носик струю пара, Варламов потушил огонь, выбрал из жестяной импортной банки с изображением полуголой индианки последние щепотки. Банка давным-давно опустела, в нее засыпали «грузинский 2-й сорт», но на кухне она была нужна для престижности, поэтому ее не выбрасывали. Заливая кипятком в заварник, Варламов рассуждал: «Сколько ни рыбалил потом на реках и озерах Союза, а все ж нет такого второго места на земле... Любил Хопер, Вороны и до сих пор люблю. А если не растратил эту любовь, то почему должен скрывать ее или стесняться? Хотел

выпустить цикл статей — так выпускай, никто ж не мешает. Даже Пашка этот».

Утром Варламов заглянул в курилку под лестницей. Там была вся мужская половина редакции. Перездоровавшись, он достал болгарскую сигарету, вежливо попросил:

— Ребята, мне бы с Пашей поговорить.

Сотрудники торопливо докуривали, про себя, наверняка, размышляя: «Вызови к себе в кабинет и беседуй на здоровье».

Когда все ушли, Варламов спросил:

— Помнишь, ты мне о чуде с каким-то камнем рассказывал? Что там за история?

Паша, успевший заметно напрячься, недоверчиво посмотрел в сторону начальства, несмело начал:

— В Нечерноземье, Ярославская область, кажется, или где-то там.

Он в нерешительности остановился, помня, как Варламов оборвал его в первый раз, когда Паша решился про это рассказать.

— Ну, так что там? — подбодрил юного сотрудника Варламов.

— Там «Синий камень» есть, — и снова замолчал.

— Паша, у меня тогда времени не было, а теперь я готов тебя внимательно выслушать, — мягко настаивал Варламов.

— В общем, там такая штука, — наконец осмелел «юнкор». — Камень этот — словно живой, и поупрямее многих людей будет. После дождя цвет камня меняется от серого к синему, но не это важно. Этому камню с незапамятных времен все поклонялись: сначала местное племя — меря, а потом древние славяне. После крещения Руси рядом с камнем поставили Надозерный монастырь, но жители все равно собирались у своей старой святыни и устраивали буйное веселье, пляски и костры. Монахи стали пугать их тем, что в идоле живет нечистая сила, но это не помогало, к языческой святыне приходили снова и поклонялись ей тайно. Из летописных сводов монастыря известно, что преподобный Иринеарх Ростовский посоветовал своему другу, дьякону Онуфрию, зарыть камень. Тот и зарыл «идола», а вскоре умер от лихорадки. В земле камень пролежал некоторое время, потом снова очутился снаружи. Водяная эрозия размыла склон, и замерзающий грунт понемногу выталкивал камень из земли. В 1788 году его хотели использовать под фундамент строившейся Духовской церкви. Синий камень водрузили на большие сани и повезли по льду Плещеева озера. Но лед не выдержал огромной тяжести, треснул, и камень утонул на глубине полутора метров. Через семьдесят лет, уже при Александре Втором, Синий камень снова вынесло на берег озера. Дискуссия о причинах этого явления шла во «Владимирских губернских ведомостях» и завершилась выводом: камень выдавили весенние торосы, ураганный ветер и движение льдов.

Паша видел, как вместе с дотлевающим огоньком сигареты в глазах начальства разгорается неподдельный интерес. Он интригующе молчал.

— Это же не окончание истории? — поинтересовался Варламов, зная, что любая статья ничто без дня сегодняшнего.

Паша торжествовал:

— Совсем недавно Синий камень по неясным геологическим причинам стал уходить в землю. Десять лет назад он выдавался на поверхность чуть ли не в рост человека, а теперь его высота вполовину меньше. Весь свой срок камень лез наружу, а теперь он уходит. Понимаете? Уходит от

нас. Ему надоел тот мир, что мы построили вокруг себя и вокруг этого камня.

Варламов затушил окурок:

— Как думаешь, камень когда-нибудь покажется снова?

Паша скептически сморщил губы:

— Может быть. От людей зависит.

— Вот про это и напиши. Только поясни про монастырь, что он не наш, а тамошний, ярославский, а то читатели нас в клевете обвинят.

Паша не верил своим ушам, сраженный такой щедростью:

— И что, напечатают?

Варламов улыбнулся:

— Ну а что? Мы чем хуже столичных газет?

Он поднялся к себе в кабинет, бросил портфель на стул, расстегнул пиджак и, усевшись за казенную «Ятрань», быстро отстучал заголовок: «Варламов Петр Константинович, 1918 — 1987». Затем начал с новой строки: «Встречали вы когда-нибудь рассвет на Хопре? Не всякая биография начинается такой неожиданной фразой, но сейчас я вам все объясню...»

КОНЕЦ ЯНВАРЯ

Вначале разгребли снег, спилили столбы у скамьи, вкопанной на междурядье, освободили место под могилу. Потом жгли костер, отогревая твердую землю, били в нее заступом, ковыряли, перемешанную с пеплом и угольями, ворочали глыбы ломами. Лаврский колокол отбивал час за часом, вырастал сбоку ямы бург мерзлосема, похожий на пирамиду, дно могилы медленно уходило вглубь. Матвей Рыжов, мужик смиренный и зачастую молчаливый, в этот раз первым заговорил:

— На Шипке вот так же тяжело шанец копали, проморозило нас там добре... А земля тяжела, камениста.

Молодчик Гришка — вольная непокорная душа — сдвинул шапку на затылок, шумно потянул воздух через щербину в зубах, уставился на Матвея, деланно удивился:

— Ты гляди, наш молчун бормотать умеет.

Третий могильщик, пожилой и немного согнутый, на миг остановил работу, глянул на обоих и снова взялся за лом. Звали его Тихоном, был он старшим в их небольшой артели, но это не мешало Гришке постоянно трунить над ним: «Что, старый, гнешься? К земле тянет? Уж сколь ты ее, родимую, за свой век поковырял, знамо дело, она тебя манит. Теперь, говорит, я тебя, старик, помучаю-покуражусь». И хотел в одиночку над своими шутками. Он и над Матвеем пытался злорадоваться, как только пришел в артель, но тот никогда не отвечал ни на людскую злобу, ни на благодарность. Матвей любил слушать кладбищенских птиц по весне или, усевшись рядом со сторожкой на лавочке, наблюдать, как сходит по вечернему небу солнце к горизонту, а дня при этом почти не убывает, и любовался музыкой белых ночей. В человеке же Матвей ценил только работу его рук: он глядел на каменные склепы, на фигурные решетки и литые оград, на мраморную богатую скульптуру.

Гришка слышал от него за год работы не больше полусотни слов и сегодня, одаренный небывалой щедротой, вспомнил, что видел Матвея на какой-то государев праздник с умытым лицом, расчесанной бородой, в на-

чищенных сапогах и с серебряной медалькой на старой ватной куртке. Он запомнил эту медаль, но она не помешала Гришке раздавать Матвею шутейных «лобариков» и «лещей», которыми он снабжал Матвея почти всякий раз, когда проходил мимо без работы. Матвей на эти легкие тычки в свой лоб и загривок не обращал внимания, они для него были столь же невесомы, как и падавшие на воздух Гришкины слова.

В кладбищенскую ограду пребывал народ, толпился вокруг храма, где шло отпевание. Серо-коричневую рябь из шуб, крылаток и пальто разбавляли пятна белых букетов. Гришка часто останавливался, с деревенским любопытством глядел на людей:

— Все цветы небось в городе скупили. Видать, знатного сегодня закупаем, генерала или министра.

Из храма сквозь толпу пролез сторож, сбежал по ступенькам, торопливо подошел к могильщикам:

— Авдеевич интересуется, поспеете ли вовремя? Заминки не будет?

— Скажи ему, пусть не лезет не в свое дело, — нахохлился Гришка. — Все объять — рук не хватит и задок треснет.

Сторож сердито глянул из-под бровей:

— Тихон, держи своего щенка на привязи, а то я ему хвост защемлю.

Тот спокойно глянул на сторожа:

— Передай Авдеевичу: все будет, как надо. Успеваем.

И так же размеренно продолжил выкидывать нарубленную землю из ямы. Сторож знал, как и все, кто работал на кладбище, что Гришка с Тихоном из одной деревни. Мальца прислал с письмом, писанным рукой приходского попа, отец Гришки, бывший приятель Тихона, умолял пристроить сына хотя бы на зиму, чтоб тот даром не объедал семью, и без того страдавшую от бескормицы. Тихон прогнал слабосильного забулдыгу из своей артели, принял на его место Гришку, месяц ходил на исповедь и каялся в грехе, пока батюшка не запретил ему в четвертый раз рассказывать об одном и том же. Гришка пережил в городе зиму, остался на весну, перелетовал и справил год своего артельного житья, выставив в этот день бутылку «Царской». Тихону «лобариков» с «лещами» не раздаривал, но и уважения не имел, смеясь над его скорой немощью: «Ты бы, старый, могилку и себе загодя вырыл, а то ведь близко она уже пододвинулась, того и гляди, проглотит», — и снова похихикивал в одиночестве.

Тихон выгреб последние мерзлые комья, сдернул колпак, перекрестившись мелкими взмахами, шепотом произнес краткую молитву. С кончика его носа на дно упала капля пота. Он выбрался по коротенькой лестничке, поглядел на храм.

Народу стало еще больше, и он все пребывал, между могилами струились людские ручейки, но человеческого шума и говора не было слышно, толпа с глубоким молчанием слушала храмовое отпевание, волной прокатывалось по ней единообразное поднятие рук, творящих знак креста. Люди, зная, что скоро гроб понесут, взбирались на крышу кладбищенской сторожки, иконной лавки и свечного магазина.

Тихон вспомнил такой же зимний день, только не в конце января, а перед самым Рождеством. Лет ему — как нынче Гришке, первые дни в городе. Толпой зевак его занесло на солдатский плац, народу невпроворот. Тихон полез по стене брандмауэра на крышу, сел выше четвертого этажа, там тоже целые ряды охочих до зрелища, и плац — как на ладони. Посреди площади разрыто три могилы, тут же вкопано три стол-

ба, к ним привязаны узники, на голове у двоих по мешку натянута, третий — с непокрытой. Напротив приговоренных два ряда штыками оцетинились, дулами в узников смотрят. Неподалеку эшафот поставлен с перилами, там тоже кандалники в коричневых халатах — участи своей ждут; конвой в касках с железными шишаками — их по периметру держит.

В толпе нетерпение, лица бледные, красные с мороза, сосульки на бородах, кто кушак нервно теребит, кто рукавицу сжал и забылся, покусывает яростно. Тихон помнил, как наплатило его это нетерпение, и он тоже второпях думал: «Ну, давай же, палите уже. Сколько ждать можно?» Бесконечно долго стоял командовавший расстрелом с поднятой и зависшей вверх рукой, сжимавшей саблю.

Но примчалась на плац пролетка, из нее выскочил человек и вручил конверт, кому следовало, а тот приказал расстрельной команде опустить оружие. Народ расползлся с крыш разочарованным. Тихон сидел еще долго, пока окончательно не промерз. Он вспоминал, как мальцом вел из сарая на задний двор их старую корову. Была весна, повсюду дыбила молодая трава, и когда раньше гнал маленький Тишка корову на выгон, она жадно щипала зелень, как только выходила из сарая, хватая губами каждый встречный цветок. Теперь же ни разу не наклонила голову, потому что чужла запах железа и знала, что на заднем дворе ее ждут молот и острый мясницкий нож.

Тихон вернулся из воспоминаний. Рядом стоял Гришка, шумно высмаркивал поочередно каждую ноздрю, влага летела на дно могилы.

— Ты хоть гляди, куда соплю кидаешь! — рассердился внезапно Тихон. — Год работаешь, стервец, а делов не знаешь!

Гришка удивленно взглянул на Тихона, пару раз хватанул ртом воздух, как карась на песке, по привычке готовый ответить. Даже у Матвея в удивлении округлились глаза, таких нот он не слышал у Тихона за все годы работы.

— Струмент убери, — немного смягчившись, добавил Тихон и кивнул Гришке на лежавшие около могилы лопаты.

Тот уже очухался от первого потрясения и, выдержав долгий недобрый взгляд на Тихоне, стал с ленцой подбирать лом, кайло и лопаты, небрежно бросал их за курган вывернутой земли.

Голос певчих раздался громче, из глубин храма на паперть вышел и медленно поплыл над головами открытый гроб с покойным. Тихон снова замер, припоминая что-то или просто не вовремя растерявшись, потом стал обходить могилу по краю, неловко оступился и, балансируя, завис над разрытой ямой.

В каждой артели свои правила, свое суеверие. В артели у Тихона считалось дурным знаком невзначай упасть в вырытую собственными руками могилу. Стоявший близко Гришка ухватил Тихона за рукав. Тихон боролся, помогая тянувшему его наружу Гришке, но все сильнее Тихона тянуло ко дну.

— Не удерживай... Брось, Григорий... Не удерживай...

Пока замешкавшийся и стоявший с другого бока ямы Матвей оббегал земляной курган, Гришка пересилил, оттащил Тихона от края. Оба они стояли в смущении, озадаченные, Тихон кричал и пытался что-то вымолвить. Гришка тоже мялся с мужицкой косолапостью, в волнении подергивал головой:

— Ты это... зачем это, отгонял меня? Я, по-твоему, чего?..

Пение приближалось, Матвей молча подхватил часть инструментов, пошел прочь от разрытой ямы, давая место процессии. Тихон с Гришкой, опомнившись, подобрали остальное, догнали его.

В безветренном тихом воздухе висел только голос отпевавших, ни единая снежинка не кружилась. Ударил скорбно лаврский колокол, со звонницы порхнула стайка сизарей. Одна птица обогнула всю толпу, пролетела, перечеркнув посередине процессию, присела на заготовленном, еще не воткнутом в землю кресте. Она недолго смотрела в пустые глаза высеченного из камня ангела, поднялась с тихим воркованием и полетела в сторону солдатского плаца.

Белыми цветами устелили горожане зарытую могилу, будто заново укрыли январским снегом.

